



Остап Шруб.

кто и просто так, за разговор, – и пошла нормальная жизнь: эскизы, этюды, полотно, купола да огороды, дома да река – и лица, лица, лица. Однажды пожаловал человек из начальственной Тюмени, он себя в доброжелателях Остапа числил, но, увидев кандалы и иконы, едва ли не на колени встал. И шёпотом: "Ты это сними, сними, Остап Павлович! И бороду сбрей!" Остап тоже шёпотом спросил: "Зачем?" А тот: "Накапливается, Остап Павлович, накапливается..." Остап засмеялся и сказал как отрезал: "Бороду не сбрею. Кандалы не выброшу. Иконы не сниму".

И повёз свои работы в Тюмень. Картины рассматривали едва ли не

дуг говорить так, как в Армении произносят имя "Минас".

**ПОСЛЕ ПОЖАРА В МАСТЕРСКОЙ**, уничтожившего пласт его жизни, Минас словно бы окаменел. Но он не был бы Минасом, если бы остался обыкновенным камнем. Он, солнечный осколок скалы близ Джаджура, взорвался таким сгустком энергии, что все поразились, сколько в нём нерастратченного света. Это тогда он написал жене: "Я пишу свет, а не материал. Свет у меня – это цвет". Это тогда патриарх армянской живописи Мартирос Сарьян написал о Минасе: "Художники пишут рассвет. Рассвет – это настроение, это свет и тьма, слитые воедино. И очень немногие отваживаются писать солнце. Минас не боится яркости, он сделал шаг в мир солнца". Это тогда Минас написал свою блистательную картину "Пекут лаваш", где лаваш похож на маленькое жаркое солнце.

Казалось, его картины потому и темны, что солнце ушло из них нам навстречу.

Жить Минасу оставалось три года.

– **А В ГОСТЯХ У НЕГО Я ТАК И НЕ ПОБЫВАЛ**, – сказал Остап. – Гостил как-то в Одессе, магушку навещал. Дал телеграмму Минасу: я в Одессе, в запасе месяц, могу ли приехать? Он до этого

всё время приглашал, а тут молчит. Я снова телеграмму – нет ответа. Ещё одну – безмолвие. Осталось у меня три дня, и билет на Тюмень в кармане. И тут получаю телеграмму: "Остап, хорошая погода, прилетай. Минас". Вот сукин сын, он не хотел, чтобы я его Армению в дождливую погоду увидел. Хотел, чтоб при солнце. Нет, это только Минас...

**Я СИДЕЛ В КАКОМ-ТО ЕРЕВАНСКОМ** доме и с обречённым видом крутил ручку кофемолки. Здесь, что ли, обычно такой – сунуть гостю ручную кофемолку, чтобы заваривать, когда свежемолотый кофе ещё тёплый после маленьких жерновов. Ко мне подошёл один из гостей, сказал, что его зовут Вазген, я тоже представился – совершенно безучастно, но он сказал:

– Я узнал, куда увезли картины Минаса. В Раздан. Завтра утром я за вами заеду.

В маленькой картинной галерее было темно. Вазген зажёл карманный фонарик, луч его метался по стенам, выхватывая фрагменты картин, и от этого показалось, что люди, изображённые на них, пришли в движение.

Потом включили электричество – и я увидел её: женщина выходит из дома, прикрывая ладонью свечу, и сквозь пальцы её струится свет.

# Остап

Одно имя  
в Армении  
звучит так же,  
как другое –  
в Тюмени

**ПОСЛЕ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ** Остап Шруб приехал в Тюмень. Тогда, в конце 50-х, слова "молодой художник" звучали подозрительно – ну, не так, как "матёрый шпион", но холодок отчуждения, перемешанного со странным страхом ожидания – чего сейчас отчудит? – в глазах тех, в чьё распоряжение его *распределили*, Остап различил без труда.

И уехал в Тобольск.

Хотя нет, это произошло не сразу. Сначала его – то ли сгоряча, то ли не без умысла – включили в комиссию "по довыполнению решений XX съезда": бюсты вождя, оказавшегося сатрапом, надо было изъять, но это как-никак произведения искусства, а товарищ – с академическим образованием.

– Изымали. Свозили в кочегарку райкома партии и предавали огню. А гипс не горит, хоть ты его бензином облей. И тогда наш старший брал молоточек и по гипсовой голове тук-тук делал. А бюст только крошится. Вот я и говорю: дайте, я его кувалдой. И этот аж присел: да за такие слова-а!

– Молоточком, значит, можно, а кувалдой ни-ни?

– Ни-ни. Этот даже обиделся.

Теперь оставалось только в Тобольск.

Тогда здесь ещё не начинали строить нефтехимический гигант, и патриархальный город оставался таким же, каким был сто лет назад. Остап поселился в ризнице, вскопал огород бабке Ефросинье, получил за это мешок картошки, а в огороде, копаючи эту самую картошку, нашёл кандалы, отдраил их и повесил на стенку, к ним иконы добавились – их мужики за водку несли, а

на просвет, даже обратную сторону холста разглядывали, словно здесь и была скрыта крамола. Покряхтев, выдавили из себя: "Да-да... Но – не то". Подмога пришла со стороны публики, которую до той поры Остап всерьёз не воспринимал: молодые газетчики из "Тюменского комсомольца", отчаянные ребята, вдоволь потешились над носорогами, принимавшими работы Остапа, и устроили ему маленькие именины сердца.

Но бабке Ефросинье надо было снова копать огород, да и картошка ещё оставалась; он вернулся в Тобольск.

– **Я ПЕРЕБИРАЮ СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ**, и, знаете, вспоминается какая-то ерунда. Лиджак у нас был один на двоих.

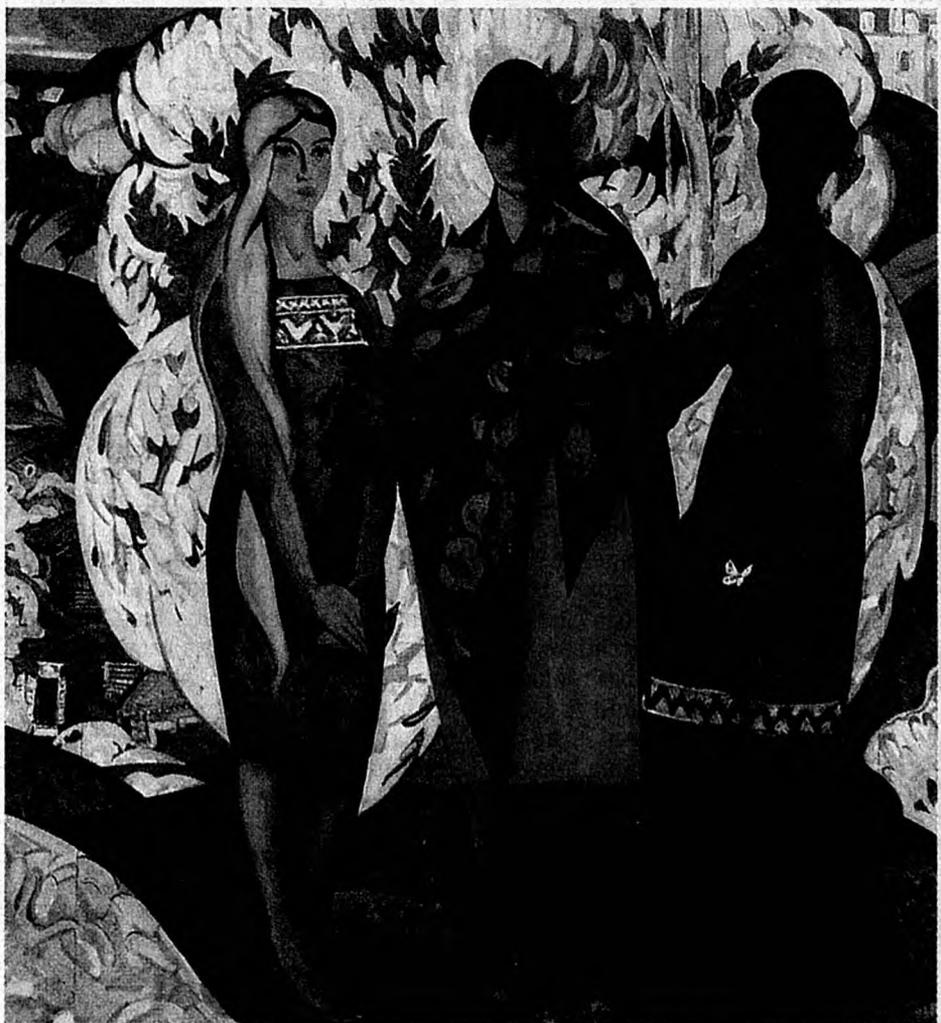
– Чей, кстати?

– Мой. Мы его вместе выменивали у одного польского студента. Но пальто, венгерское пальто, было Минаса. Его мы тоже по очереди носили. И вот какая странность: вещи одни и те же, но на мне мешок мешком, а на Минасе – как будто от самого модного портного. Он во всём был одарён. И во всём красив.

– Забыл спросить: как вас в Тюмень занесло?

– Исключительно из желания сэкономить государственные средства. Меня бы всё равно в эти края определили. Надо мной висело. Дипломная работа, как они сказали, вышла за рамки. Меня исключили. После, правда, восстановили, но...

Это после, потом будут персональные выставки, признание, ученики и бесконечная вереница чужих дел. Это после, потом в Тюмени имя "Остап" бу-



О. Шруб. Черёмухи цвет. 1967.